

Памяти великаго философа

(ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ).

Предлагаемая статья — послѣдняя по времени в огромном и цѣнном литературно - философском наслѣдствѣ Л. И. Шестова. Она в буквальном смыслѣ — его лебединая пѣсь... Он писал ее с большим, можно сказать с послѣдним, напряженіем душевных и физических сил.

Еще в маѣ редакція «Р. З.» обратилась к Л. И. с просьбой откликнуться, хотя бы коротко, но безотлагательно, на смерть друга и коллеги Шестова — знаменитаго Гуссерля. Л. И. с характерной для него авторской скромностью и щепетильностью пытался отклонить сдѣланное ему предложеніе. — «Написать о Гуссерль — необычайно для меня соблазнительно, — отвѣтил он 29 мая. Но работа эта очень сложная и нелегкая... И, в обыкновенное время я бы с такой задачей (при малых размерах статьи, коротком срокѣ и требованіи доступности для большой публики) вряд-ли справился. Но сейчас, когда, хоть я и открыт послѣ болѣзни, но все же еще принужден держаться строгаго режима, — это мнѣ совѣсть не по силам и, как мнѣ это ни огорчительно, — я взяться за это не могу».

В слѣдующем письмѣ от 10 іюня, уступая настояніям редакціи, Л. И. пишет: «Вам нѣтъ нужды убѣждать меня насчет статьи о Гуссерль. Я и сам очень хотѣл бы и даже считаю обязанным себя написать ее. Но вопрос: буду ли в силах? Я, вѣдь, до сих пор пол-дня в постели лежу. Мой врач (т. е. жена) рассчитывает, что только послѣ канікулярнаго отдыха силы вернутся. Поэтому я боюсь давать обѣщаніе — развѣ условное: удастся — напишу к 1 августа, не удастся — не напишу. Ни Вас, ни меня это обѣщаніе ни к чему не обязывает. Большаго не не хочу, а — увы! — не могу обѣщать: давши слово, держись, не давши — крѣпись!..»

Однако, к 1-му августа силы еще не вернулись к Л. И., и приходилось терпѣливо ждать; наконец, 6-го октября пришла отрадная вѣсть: — «Сообщаю, что вчера закончил статью о Гуссерль — осталось только переписать на-чисто, на что по-

требуется дней десять, двенадцать, — т. к. переписка меня очень утомляет и приходится переписывать медленно. Статья значительно превысила размеры. Сократить я не мог, — т. к. тема слишком меня задвигала: я хотел подлиться с читателями и воспоминаниями о моих встречах и беседах с Гуссерлем, нужно было изложить его учение, а также и мои споры с ним».

Утомительная переписка отняла у Л. И. большие времена, чем он предполагал. Но 20-го октября статья была отправлена в редакцию, и Л. И. просит «не отказать сейчас по получении известить открыткой; мне невесело будет думать, что, пожалуй, еще раз переписывать придется: очень уж это мне трудно теперь»...

Рукопись благополучно дошла по назначению, но уже технически не могла попасть в ноябрьскую книжку журнала. А сверстанная корректура печатаемой ниже статьи Л. И. пришла уже в день его внезапной кончины...

К оцмкѣ Льва Шестова, как философа, литературнаго критика и стилиста, редакція «Р. З.» предполагает в недалеком будущем вернуться.

Макс Шеллер, в нашу послѣднюю встрѣчу, за двѣ недѣли до его смерти, обратился среди бесѣды ко мнѣ с вопросом: warum sind Sie mit so einem Ungestüm gegen Husserl losgegangen? Сам Гуссерль, когда я навѣстил его во Фрейбургѣ, представляя меня прїѣхавшим к нему американским профессорам философіи, сказал: «мой коллега такой-то; никто никогда еще так рѣзко не нападал на меня, как он — и отсюда пошла наша дружба». Слова Гуссерля прежде всего поражают, конечно, тѣм, что в них выразил столь рѣдкое, даже у больших философов, «безкорыстіе»: его интересует, прежде всего, истина, и на почвѣ розысканія истины не только возможна, но почти необходима дружба с идейным противником. Это в высшей степени показательно, — и читатель, конечно, оцѣнит по заслугам эту черту характера Гуссерля. Но сейчас нас занимает другое: что вызвало, что могло вызвать с моей стороны столь рѣзкое выступленіе? Мнѣ представляется, что для уразумѣнія столь трудной и вмѣстѣ с тѣм столь замѣчательной гуссерлевской феноменологіи полезно будет

изложить не только его собственное учение, но и тѣ причины, в силу которых оно представлялось и до сих пор представляется мнѣ столь неприемлемым. Возраженія выявляют не только мысли возражающаго, но и того, против кого они направлены.

С сочиненіями Гуссерля — тогда были только его «Logische Untersuchungen» — я познакомился уже давно: тридцать лѣтъ тому назад. Впечатлѣніе от этой книги было потрясающее: в философской литературѣ начала двадцатаго вѣка мало кто мог сравниться с Гуссерлем по мощи, смѣлости, глубинѣ и значительности мысли. Личное же знакомство наше состоялось много позже, послѣ появленія в «Revue Philosophique» моих статей о нем — лѣтъ десять тому назад. Я был приглашен в Амстердам для чтенія доклада в философском обществѣ. Когда я туда пріѣхал, мнѣ сказали, что слѣдующій за моим докладом будет доклад Гуссерля и что Гуссерль, узнав, что я буду в Амстердамѣ, просил меня подождать до его пріѣзда, чтоб встрѣтиться со мной. Нечего и говорить, что я радостно согласился отсрочить свой от'ѣзд на нѣсколько дней. Меня уже тогда пріятно поразило желаніе Гуссерля встрѣтиться со своим рѣшительным идейным противником: это, вѣдь, так рѣдко, почти никогда не бывает.

Первая встрѣча наша состоялась в философском обществѣ — в вечер перед докладом. Философских разговоров тогда, конечно, не было: Гуссерль был занят докладом своим, который длился больше двух часов и который, кстати сказать, он прочел с необычайной легкостью, стоя, и с таким искусством, с такой силой, точно ему было не 70 лѣтъ, а 40. Тогда же он попросил того члена общества, у котораго он с женой остановился (таков обычай в Амстердамѣ — докладчики живут не в гостиницах, а у членов философскаго общества), пригласить меня к себѣ к обѣду на слѣдующій день. За обѣдом, конечно, о философіи не разговаривали. Но сей час послѣ обѣда, как только мы перешли из столовой в кабинет хозяина, Гуссерль начал говорить на философскія темы — и сразу перешел *in medias res*. Это тоже характерно для Гуссерля. Я помню, что, когда, через нѣсколько дней, мы вмѣстѣ обѣдали у другого члена общества и когда послѣ обѣда хозяин, очень богатый человек и страстный библиофил, стал показывать Гуссерлю находившіеся в его библіотекѣ уникумы — вродѣ перваго изданія «Критики чистаго разума» или «Этики» Спинозы, — Гуссерль, к величайшему огорченію

хозяина, разсѣянно разсматривал рѣдкостныя книги и через нѣсколько минут отвел меня в сторону и стал бесѣдовать со мной на философскія темы. Та-же сосредоточенность на поглощавших его вопросах сказалась и тогда, когда я, по просьбѣ покойнаго профессора Andler'a, стал зондировать почву — не согласится-ли Гуссерль прїѣхать в Париж, если его пригласит Сорбонна. Единственный вопрос, который он мнѣ предложил: «Считаете-ли вы, что в Парижѣ найдутся люди, знающіе нѣмецкій язык и готовые вдуматься в мою проблематику?» — Гуссерль весь был во власти долѣвавших его философских заданій. Это, конечно, сказалоь во всѣх наших бесѣдах — впервые в Амстердамѣ, а потом во Фрейбургѣ и в Парижѣ. Наиболеѣ интересныя и значительныя признанія услышал я от него уже в первом нашем разговорѣ: «Вы были неправы, — начал он, набросившись на меня с такой рѣзкостью и страстностью. — Вы точно превратили меня в каменную статую, поставили на высокій пьедестал, а затѣм ударом молота раздробили эту статую вдребезги. Но, точно-ли я такой каменный? Вы как бы не замѣтили, что принудило меня так радикально поставить вопрос о существѣ нашего знанія и пересмотрѣть господствующія нынѣ теоріи познанія, которыя прежде удовлетворяли меня самого не меньше, чѣм других философов. Чѣм больше углублялся я в основныя проблемы логики, тѣм больше чувствовал я, что наша наука, наше знаніе шатаются, колеблются. И, наконец, к моему неописанному ужасу, я убѣдился, что, если современная философія есть послѣднее слово, которое дано сказать людям о существѣ знанія, то знанія у нас нѣтъ. Был момент, когда, выступая на кафедрѣ с изложеніем тѣх идей, которыя я усвоил себѣ от наших современников, я почувствовал, что мнѣ нечего сказать, что я выхожу к слушателям с пустыми руками и пустой душой. И тогда рѣшился я подвергнуть пред самим собой и пред своими слушателями всѣ существующія теоріи познанія той безпощадной и суровой критикѣ, которая вызвала негодованіе у многих, и, с другой стороны, я стал искать истину именно там, гдѣ до сих пор истины никто не искалъ, так как никто не допускалъ, что ее там можно розыскать. Таково происхожденіе моих «Logische Untersuchungen» — и с этим вы не захотѣли считаться, не пожелали услышать и увидѣть в моей борьбѣ, в моем безудержном entweder-oder. выраженіе того, чѣм она была — выраженіе сознанія, что, если уси-

ліями нашего разума не будут преодолены возникшія во мнѣ сомнѣнія, если мы обречены попрежнему только болѣе или менѣе тщательно замазывать трещины и щели, открывающіяся нам каждый раз в наших гносеологических построениях, то в один прекрасный день все наше познаніе рухнет, и мы очутимся пред жалкими развалинами былого величія».

В таких, приблизительно, словах, но с еще большей силой и страстностью, с тѣм исключительным под'емом, который чувствовался во всѣх его замѣчательных писаніях и рѣчах, говорил он мнѣ об источниках его столь смѣлой и оригинальной философіи, безпощадно разметавшей основныя идеи лучших представителей современной мысли. «*Logische Untersuchungen*» и другія его сочиненія были — я думаю, в этом нѣтъ преувеличенія — как бы избіеніем не младенцев, конечно (младенцы не философствуют), а стариков, и вмѣстѣ с тѣм они явились грандіозной и великолѣпной попыткой найти для нашего познанія опору, которую — позволю себѣ такую метафору — и врата адавы не одолѣют. И говорил он об этом с такой искренностью, с таким увлеченіем, с таким вдохновеніем, что, думаю, даже для непричастнаго к философіи, если-бы он послушал его, сразу обнаружилось бы, что поднятые Гуссерлем вопросы были не теоретическими, то или иное рѣшеніе которых для нас равно безразлично, а потому и равно пріемлемо, а вопросами, как он сам выразился, жизни и смерти. В Гуссерлѣ, точно у Шекспировскаго Гамлета, пробудилось страшное, роковое «быть или не быть» или, лучше еще, его посѣтило гамлетовское (точнѣе, шекспировское) откровеніе: время вышло из своей колеи. Впечатлѣніе от того, что он говорил, было поистинѣ потрясающее. Я никогда не забуду моей первой личной встрѣчи с Гуссерлем, какъ никогда из памяти моей не изгладится впечатлѣніе, произведенное на меня чтеніем его сочиненій на двадцать лѣтъ раньше: встрѣча с великими представителями человѣческаго духа оставляет в нашей душѣ неизгладимые слѣды.

Это я ему откровенно и сказал: «Вы правы, конечно: со всей энергіей, которую я мог в себѣ найти, я обрушился на ваши идеи. Но именно потому и единственно потому, что я почувствовал огромную, ни с чѣм несравнимую мощь вашего мышленія, равно как и то, что вы мнѣ сейчас рассказали о внутренних источниках ваших столь оригинальных и столь смѣлых идей. И я не со-

мнѣваюсь, что во Франціи, — гдѣ вас до моихъ статей почти совсѣмъ (а то и совсѣмъ) не знали — теперь по моимъ статьямъ знаютъ, что в сосѣдней странѣ живетъ большой философъ, которому открылись горизонты, до сихъ поръ никому не видимые из-за густого тумана традиціонныхъ общихъ мѣст. Рѣзкость моихъ нападокъ не только не ослабляетъ, но, наоборотъ, подчеркиваетъ огромное значеніе того, что вы сдѣлали для философіи. Чтобъ бороться съ вами, нужно напречь всѣ душевныя силы, — а всякое напряженіе предполагаетъ страсть и связанную со страстью рѣзкость. Предо мной стала страшная дилемма: либо принять все, что вы говорите, и не только то, что вы уже высказали, но и всѣ выводы, къ которымъ обязываетъ философія, либо возстать противъ васъ. И вотъ я вамъ заявляю: если в иномъ мѣрѣ меня обвинятъ в томъ, что, начавъ борьбу съ самоочевидностями, я предалъ философію, — я укажу на васъ, и вы будете горѣть, а не я. Вы такъ долго и с такой силой и неумолимостью гнали и преслѣдовали меня своими самоочевидностями, что у меня не оставалось другого выхода: либо во всемъ вамъ покориться, либо рѣшиться на отчаянный шагъ — возстать уже даже не противъ васъ, а противъ того, что считалось и считается до сихъ поръ вѣчно неоспоримымъ основаніемъ всякой философіи, всякаго мышленія: возстать противъ самоочевидностей. Вы были глубоко правы, возвѣстивши, что время вышло изъ колеи своей, что распалась связь временъ — связь временъ точно распадается отъ всякой попытки усмотрѣть хоть малѣйшую трещину в томъ основаніи, на которомъ покоится наше знаніе. Но нужно-ли сохранить — чего бы это ни стоило — наше знаніе? Нужно-ли вводить вновь время в колею, изъ которой его выбросило? Можетъ быть — наоборотъ? Можетъ быть, нужно его еще толкнуть — да такъ, чтобъ оно разбилось вдребезги?»

В этой бесѣдѣ, поневолѣ изложенной вкратцѣ и с той приближительностью, которую предполагаетъ всякое сокращеніе и воспоминаніе, какъ бы сосредоточилось все то, что сближало и раз'единяло насъ. Можетъ быть, инымъ это покажется страннымъ, — но моимъ первымъ учителемъ философіи былъ Шекспиръ. Отъ него я услышалъ столь загадочное и непостижимое, а вмѣстѣ с тѣмъ столь грозное и тревожное: время вышло изъ своей колеи. Что можно дѣлать, что можно предпринять предъ лицомъ вышедшаго изъ колеи времени, предъ лицомъ тѣхъ ужасовъ бытія, которыя открываются челоуѣку (Шекспиру), вмѣстѣ с временемъ выброшенному изъ ко-

лен? От Шекспира я бросился к Канту, который с неподражаемым искусством своей «критикой практического разума» и своими знаменитыми постулатами пытался замазать и замазал на столбѣтїа щели бытія, обнаруженныя его же собственной критикой чистаго разума. Но Кант не мог дать отвѣты на мои вопросы. Мои взоры обратились тогда в иную сторону — к Писанію. Но развѣ Писаніе может выдержать очную ставку с самоочевидными истинами? Такого вопроса я себѣ не ставил, еще не рѣшался ставить, — как не рѣшаются его ставить даже тѣ, которые признают непогрѣшимость папы. Люди довольствуются постулатами практического разума, чтоб ослабить, точнѣе позабыть, не видѣть всеразрушающаго дѣйствїя истин разума теоретическаго.

Всѣ почти наши бесѣды с Гуссерлем велись на эти темы. Когда он прїѣхал в Париж и пришел, по моему приглашенію, ко мнѣ, он сейчас же послѣ обѣда (котораго он как бы не замѣтил, который для него как бы не существовал) ушел со мной в отдѣльную комнату и сразу же приступил к философскому собесѣдованію. Это было в ту пору, когда я работал над первой частью своей книги «Афины и Иерусалим», которая называется «Скованный Парменидъ». Естественно, что я постарался направить бесѣду нашу на тѣ темы, которые трактовались в этой части моей книги. И вот, когда я сказал ему, повторяя почти дословно то, что потом было написано в «Скованном Парменидѣ»: «В 399 году отравили Сократа. Послѣ Сократа остался его ученик Платон и Платон «принуждаемый самой истиной» (выраженіе Аристотеля) не мог не говорить, не мог не думать, что Сократа отравили. Но во всѣх его писанїях слышится и слышался только один вопрос: точно-ли в мірѣ есть такая сила, такая власть, которой дано окончательно и навсегда принудить нас согласиться с тѣм, что Сократа отравили? Для Аристотеля такой вопрос, как явно бессмысленный, совершенно не существовал. Он был убѣжден, что «истина» — собаку отравили, равно как и «истина» — Сократа отравили, — равно навѣки защищены от всяких человѣческих и божеских возраженїй. Цикута не различает между собакой и Сократом, и мы, принуждаемые самой истиной, обязаны тоже не дѣлать никакого различїя между Сократом и собакой, даже бѣшеной собакой». — Когда я это ему сказал, я ждал, что его взорвет от негодованїя. Но получилось иное: он весь обра-

тился в слух, точно гдѣ-то, в глубинѣ его души, он уже давно прозрѣвал, что аристотелевское «принуждаемые самой истиной» таило в себѣ какую-то ложь и предательство. Я был тѣм болѣе поражен, что перед тѣм у нас разгорѣлся горячій спор по вопросу — что такое философія? Я сказал, что философія есть великая и послѣдняя борьба — он мнѣ рѣзко отвѣтил: *Nein, Philosophie ist Besinnung.* Но теперь характер бесѣды принялъ иное направленіе. Он словно почувствовал, что аристотелевская увѣренность покоится на пескѣ. И он устроил так, что мой «Скованный Парменид» появился в журналѣ «Логосъ», для котораго он и по объему и, в особенности, по содержанію был совершенно неприемлем уже по одному тому, что в нем оспаривается наше убѣжденіе, что от истины «Сократа отравили» людям не дано никогда освободиться. Но Гуссерль, повторяю, был открытой ко всему душой. Вскорѣ послѣ появленія в «Логосѣ» моего «Парменида» он написал мнѣ: «ваши пути — не мои пути, но вашу проблематику я понимаю и цѣню»^{*)}. И тогда я понял тот странный факт, что Гуссерль во время моего пребыванія во Фрейбургѣ, узнав от меня, что я совсѣм не читал Киргегарда, с загадочной настойчивостью стал не просить, а требовать от меня, чтоб я познакомился с произведеніями датскаго мыслителя. Как случилось, что человек, всю жизнь свою положившій на прославленіе разума, мог толкать меня к Киргегарду, слагавшему гимны Абсурду? Гуссерль сам, правда, познакомился, повидимому, с Киргегардом лишь в послѣдніе годы своей жизни: на его работах совершенно не видно слѣдов знакомства с каким бы то ни было из сочиненій автора «*Entweder - Oder*». Но, надо думать, что идеи Киргегарда глубоко запали в его душу.

II

Существует мнѣніе, что задача феноменологіи Гуссерля — чисто методологическая. Мнѣніе глубоко ошибочное, которое только заслоняет пред нами всю огромность и значительность гуссерлевской проблематики. Сам Гуссерль на вопрос: что такое философія? отвѣчает: «философія есть наука об истинных началах, об истоках, *«rizomata panton»* (корнях всего). Из этого он-

^{*)} Любопытно, что однажды он мнѣ сказал: *Das, was Sie treiben, heisse ich auch Wissenschaft!*

редѣленія уже с достаточной ясностью видно, чего добивается Гуссерль. В философском журналѣ «Логос» за 1910-11 год появилась его большая статья: «Философія, как строгая наука», написанная с необычайным подѣмом и представляющая из себя даже не итоги, а как-бы манифест феноменологической школы, на сравнительно немногих страницах передающій все то, что было им прежде так обстоятельно развито в его больших трудах — «Логических изслѣдованіях» и в «Идеях чистой феноменологіи». Со смѣлостью, которая рождается у людей, призванных совершить великое дѣло, он провозглашает: «Быть может, во всей жизни новѣйшаго времени нѣтъ идеи, которая была бы могущественнѣе, неустойчивѣе, побѣдоноснѣе идеи науки. Ея побѣднаго шествія ничто не остановит. Она на самом дѣлѣ оказывается совершенно всеохватывающей по своим правомѣрным дѣлам. Если мыслить ее в идеальной законченности, то она будет самым разумом, который на ряду с собой и выше себя не может имѣть никакого авторитета». И еще — «наука сказала свое слово — с этого момента мудрость обязана учиться у нея», властно заявляет он, точно соревнуя со знаменитым изрѣченіем: *Roma locuta, causa finita*. Не слѣдует, однако, думать, что Гуссерль отрекается от всего, что сдѣлала философія до него. Наоборот, он живо чувствует свою преемственную связь с великими представителями прошлаго. «Хорошо сознанныя воля к строгой наукѣ характеризует сократо - платоновскій переворот в философіи и точно также научныя реакціи противосхоластики в началѣ новаго времени, в особенности декартовскій переворот. Данный ими толчок переходит на великія философіи XVII и XVIII вѣков, обновляется с радикальнѣйшей силой в критикѣ чистаго разума и оказывает еще вліяніе на философію Фихте». Безоговорочное осужденіе вызывает у Гуссерля лишь новѣйшая философія, на которую он беспощадно обрушивается: «здѣсь не положено даже начала научнаго ученія; историческая философія, замѣшающая собой послѣднее, является, самое большее, научным полуфабрикатом, или неясным, недифференцированным смѣшеніем міросозерцанія и теоретическаго познанія». Міросозерцаніе, то, что Гуссерль называет міросозерцаніем (оно же есть и мудрость), пробуждает в нем все негодованіе, на которое он способен. «Мы должны помнить о той отвѣтственности, которую мы несем на себя по отношенію ко всему человѣчеству. Ради времени мы не должны жертвовать вѣчностью; чтобы смягчить нашу нужду, мы не дол-

жны передавать потомству нужду в нуждѣ, как совершенно неизбежное зло... Міросозерцанія могут спорить, только наука может рѣшать и ея рѣшенія носят на себѣ печать вѣчности».

Всѣ эти вызывающія слова направлены против философіи второй половины 19-го столѣтія — в лицѣ ея живых и покойныхъ представителей: Милля, Бэна, Вундта, Зигварта, Эрдмана, Липса, Дильтея. Всѣхъ ихъ онъ упрекаетъ в «психологизмъ» или, говоря иначе, в релятивизмъ. Уже древніе вскрыли внутреннее противорѣчіе релятивизма. Релятивизм,—говорилъ Аристотель и даже не от своего имени, не какъ об открытой им самим истинѣ, а какъ об истинѣ всѣмъ извѣстной,—уничтожаетъ самого себя. Для Гуссерля это положеніе — исходная точка всѣхъ его розысканій. Конечно, и для его противниковъ положеніе Протагора — «человѣкъ есть мѣра вещей» абсолютно непріемлемо. Но Гуссерль показываетъ, что бессознательно или скрыто они цѣликомъ во власти идеи Протагора и не даютъ себѣ в этомъ отчетъ лишь потому, что они не абсолютныя, а специфическія, какъ онъ выражается, релятивисты. Они видятъ бессмысленность утвержденія, что у каждаго человѣка можетъ быть своя собственная истина, но не замѣчаютъ, что не менѣе бессмысленно утвержденіе, что у человѣка, какъ у вида, есть своя собственная истина. В противоположность всѣмъ современнымъ философамъ, онъ с великолѣпнымъ пафосомъ провозглашаетъ: «что истинно, то абсолютно истинно, само по себѣ; истина тождественно едина, воспринимаютъ-то ее в сужденіяхъ люди или чудовища, ангелы или боги».

В этихъ словахъ — весь Гуссерль, вся огромная, почти сверхчеловѣческая задача, поставленная имъ себѣ и философіи, которая разыскиваетъ начала, истоки и корни всего сущаго. Послѣ Канта — и именно послѣ его «критики чистаго разума» — такое утвержденіе кажется совершенно фантастическимъ. Абсолютная истина — кто рѣшится серьезно говорить о такихъ вещахъ? Гуссерль, конечно, превосходно знаетъ, что современная мысль боится подойти на разстояніе пушечнаго выстрѣла къ такого рода сужденію. Безспорно, всѣ гносеологи говорятъ о самоочевидныхъ истинахъ, но для нихъ самоочевидность, наша увѣренность въ существованіи всеобщихъ и необходимыхъ сужденій, есть только, какъ выразился Зигвартъ, «постулатъ, дальше котораго намъ не дано идти», увѣренность, которая держится лишь суб'ективнымъ сознаніемъ, «чувствомъ самоочевидности, сопровождающимъ часть нашего мыш-

ленія». Так же думали, то же говорили и другіе выдающіеся мыслители новаго времени — Эрдман, напримѣр. И всѣмъ казалось, всѣмъ даже хотѣлось, чтобъ в этомъ чувствѣ самоочевидности мы видѣли «достаточное основаніе», оправдывающее наше довѣріе к результатамъ научныхъ розысканій. Но Гуссерль в этой вольной или невольной безпечности усмотрѣлъ роковую угрозу философіи. Отвѣчая Эрдману и Зигварту, онъ пишетъ: «Стало быть возможны существа особаго вида, такъ сказать, логическіе сверхчеловѣки, для которыхъ наши основоположенія не обязательны, а обязательны совсѣмъ иныя, и то, что истинно для нас, можетъ быть ложно для нихъ. Для нихъ истинно, что они не переживаютъ тѣхъ психическихъ явленій, которыя они переживаютъ. Для насъ можетъ быть истиной, что они и мы существуемъ, а для нихъ это ложно и т. д. Конечно, мы, обыденные логическіе люди, скажемъ: такія существа лишены разсудка. Они говорятъ об истинѣ и уничтожаютъ ея законы, утверждаютъ, что они имѣютъ свои собственные законы и отрицаютъ тѣ, от которыхъ зависитъ возможность законовъ вообще. Да и нѣтъ, истина и заблужденіе, существованіе и несуществованіе теряютъ в ихъ мышленіи всякое взаимное отличіе».

Конечно, Гуссерль не ограничивается этими торжественными заявленіями. Правда, угроза сумасшедшимъ домомъ, которая заключена в сейчасъ приведенныхъ словахъ его, уже выходитъ далеко за предѣлы простаго заявленія. Безсмыслица, обнаружившаяся в утвержденіяхъ релятивизма — все равно индивидуальнаго или специфическаго, — не можетъ не вызвать крайней тревоги у добросовѣстнаго изслѣдователя. Во второмъ томѣ «Логическихъ изслѣдованій» Гуссерль формулируетъ ту же мысль в болѣе спокойныхъ, но не менѣе сильныхъ выраженіяхъ: «мы никогда не допустимъ, что психологически возможно то, что логически или геометрически является нелѣпымъ». Мы, поясняетъ онъ, «допускаемъ факты, что логическія понятія имѣютъ психологическое происхожденіе, но мы отвергаемъ выводъ, который изъ этого дѣлаютъ». Какой выводъ? Почему отвергаемъ? «Для нашей дисциплины психологическій вопросъ о возникновеніи соотвѣтствующихъ отвлеченныхъ представленій не имѣетъ никакого интереса». Тутъ выступаетъ вся оригинальность и необычность для нашего времени гуссерлевскихъ философскихъ построеній. Онъ безстрашно рѣшается взять на себя защиту правомочности видовыхъ (или идеальныхъ) предметовъ на ряду съ предментами индивидуальными (или реальными). «В этомъ пунктѣ, пи-

шет он, отличія между релятивистическим или эмпирическим релятивизмом и идеализмом и в нем единственная возможность согласованной (т. е. не заключающей в себѣ внутренняго противорѣчія) теоріи познанія». Соответственно этому Гуссерль противопоставляет акты истинных сужденій индивидуальнаго человѣка истинѣ. Я высказываю сужденіе, что $2 \times 2 = 4$. Это мое сужденіе, конечно, чисто психологическій акт и, как таковой, может быть предметом изученія психологіи. Но, сколько бы психолог ни выяснял нам законы реального мышленія, он никоим образом из этих законов не выведет принципа, по которому истина отличается от лжи. Наоборот, всѣ его расужденія уже предполагают, что в его распоряженіи есть критерій, по которому он истину от лжи отличает. Философа нисколько не занимают отдѣльныя сужденія Ивана или Петра, что $2 \times 2 = 4$. Отдѣльных сужденій об одном и том-же предметѣ — тысячи, но истина одна. «Если естествоиспытатель из законов о рычагѣ, тяжести и т. д. заключает о способах дѣйствія машины, он, конечно, переживает нѣкоторые суб'ективные акты. Но суб'ективным связям мысли соответствует нѣкое об'ективное (т. е. адекватно примѣняющееся к данной в очевидности об'ективности) единство значенія, которое есть то, что оно есть, все равно, осуществляет его кто-либо в мышленіи или не осуществляет». Та же мысль еще ярче выражена в первом томѣ «Логических изслѣдованій». «Если бы исчезли всѣ тяготящія друг к другу тѣла, то этим не был бы уничтожен закон тяготянія, он остался бы только без возможности фактическаго примѣненія. Он, вѣдь, ничего не говорит о существованіи тяготящихся масс, а только о том, что присуще тяготящим массам, как таковым». В этих рѣшительных словах нащупывается нерв феноменологіи. Этой идеей пропитано все мышленіе Гуссерля. И, чтоб не было никаких сомнѣній в том, чего он добивается, Гуссерль иллюстрирует свою мысль примѣром: «То, что выражает положеніе: то-есть, трансцендентное число, — когда мы, читая его в книгѣ или обращаясь к другим, имѣем в виду, — не есть индивидуальная, всегда повторяющаяся черта нашего мыслительнаго переживанія. В каждом отдѣльном случаѣ эта черта является индивидуально измѣняющейся, но смысл высказываемаго положенія должен быть т о ж е с т в е н н ы м.. В противоположность безграничному разнообразію индивидуальных переживаній, то, что в них выражено, повсюду идентично: оно

тождественно в строжайшем смыслѣ этого слова. Как бы ни было много лиц и актов суждений, значеніе положенія не умножается, сужденіе в идеальном, логическом смыслѣ едино... И рѣчь тут идет не о простой гипотезѣ, которая находит себѣ оправданіе в плодотворности предлагаемых ей объясненій; мы берем ее, как непосредственно воспринимаемую истину, и ссылаемся здѣсь на послѣдній авторитет в вопросах знанія — на очевидность». Вот каким языком заговорил Гуссерль пред лицом современной философіи, робко припрятавшей свои релятивистическія устремленія под расплывчатыми теоріями неокантианства. Истина едина и для людей, и для ангелов, и для богов. Истина опирается на самоочевидность — пред ней равно бессильны и смертные, и бессмертные. Поэтому, философія начинается с того, что Гуссерль называет феноменологической редукціей. Чтоб пробраться к истокам, к началам, к корням всего — нужно оторваться от всего реальнаго, от измѣнчивых, преходящих явленій, сдѣлать «*epoché*», как выражается Гуссерль, ввести их в скобки, так сказать. Тогда за скобками останется чистое, идеальное бытіе, — которое и есть искомая философіей истина, гарантируемая от всяких сомнѣній самой очевидностью. При чем Гуссерль, не колеблясь, заявляет: «Очевидность не есть нѣкій указатель сознанію, который, будучи привѣщен к сознанію, возвыщает нам, как нѣкій мистическій голос из лучшаго міра: вот тут истина, словно мы, свободомыслящіе люди, готовы бы были послушаться такого голоса и не потребовали бы от него доказательств правомѣрности его утвержденій».

Повторю: никто из современных философов не рѣшился говорить с такой смѣлостью, остротой и силой об автономной, ни от кого не зависящей истинѣ. Гуссерль не пріемлет компромиссов, столь соблазняющих большинство мыслителей. Либо очевидность есть послѣдняя инстанція, гдѣ человѣческій дух получает свое полное и окончательное удовлетвореніе, либо наше познаніе призрочно и живо, и на землѣ рано или поздно наступит царство хаоса и безумія, в котором на державныя права разума, на его скипетр и корону станут притязать всѣ, кому не лѣнь протянуть руку, и «истина» окажется нисколько непохожей на тѣ прочныя, неизбѣжные законы, которые искали и находили до сих пор строгія науки. Сенекѣ принадлежит удачная формулировка основнаго положенія, которое одушевляло древнюю философію: *ipse*

creator et conditor mundi semel jussit, semper paret. Мысль о том, что кто-то когда-то приказывал, не мирилась с представлением греков об истинѣ. Они этого прямо не говорили, но были убѣждены, что с идеей «jubere» неразрывно связана идея произвола, прямо ведущаго нас в тѣ области «Schwärmerei und Allerglauben», от которых нас так предостерегал Кант. В сущности, и Сенека, и его учителя были глубоко увѣрены, что никто никогда, ни разу не приказывал — даже творец и зиждитель міра; и творец, и всѣ разумныя и неразумныя существа всегда повиновались. Об этом свидѣтельствует очевидность, которая не есть мистическій голос из иного міра, нам, свободно мыслящим людям, нисколько не импонирующей, и которая открывает извѣчный строй бытія, обнаруживаемый выше названной феноменологической редукией. Гуссерль ссылается и на Лейбница, различавшаго «vérités de la raison» от «vérités du fait». Для Лейбница истины разума вошли в сознание Бога, не испросивши его соизволения. И Кант, в своей «Критикѣ чистаго разума», которой было предназначено свалить лейбнице - вольфовскій догматизм, без колебания заявляет, что опыт, который нам говорит только о том, что есть, но не говорит, что то, что есть, есть по необходимости такое, а не иное, — не только не удовлетворяет, но раздражает наш разум. Разум жаждет «принуждающей истины», и свободное «jubere» навсегда должно быть изгнано из философіи, которая есть и не хочет быть ничѣм иным, чѣм царством вѣчнаго повиновения (parere). Лейбниц — и тут он тоже упреждает Канта — в «parere», в повиновеніи усматривает желанную цѣль человѣка: вѣчныя истины, учит он, не только принуждают — онѣ убѣждают нас. Но ни Лейбниц, ни Кант не рѣшались помѣстить в красном углу икону вѣчных истин, на которую они молились. Только Гуссерлю дано было в удѣл так заговорить об очевидности, как того требовало исключительное философское значеніе этой идеи. «Что истинно, то абсолютно истинно, само по себѣ. Истина тождественно едина, воспринимают-ли ее в сужденіях люди или чудовища, ангелы или боги».

III

В своем стремленіи сдѣлать философію наукой об абсолютных истинах Гуссерль не знает никакого удержу. Свои основныя идеи он примѣняет не только к математикѣ и естествознанію

(«закон тяготѣнія не уничтожился бы, если бы исчезли всѣ тяготѣющія тѣла» и т. д.). Он хочет давать директивы исторіи — он хочет через феноменологическую редукцію опредѣлить всѣ проявленія человѣческаго духа. С той благородной и вызывающей рѣшительностью, с тѣм мощным напряженіем всего своего мыслящаго существа, которыя всегда так плѣняют в нем, он и здѣсь встает на защиту завѣтных заданий своих. Особенно поучителен, в этом смыслѣ, его спор со знаменитым его современником, Дильтеем. Гуссерль чтит Дильтея, как только один ученый может чтить другого ученаго. И, тѣм не менѣе, отправляет и его, как Зигварта и Эрдмана, в сумасшедшій дом, — хотя в нѣсколько болѣе слабых выраженіях. Но, вѣдь, сумасшедшій дом остается сумасшедшим домом, как бы его ни называли. Центральная мысль Дильтея, вызвавшая такой страстный отпор у Гуссерля, выражена им в слѣдующих простых и ясных словах: «Пред взором, охватывающим землю и все прошлое человѣка, исчезает абсолютная значимость какой-либо отдѣльной формы жизненнаго устроенія, религіи и философіи. И, таким образом, установленіе историческаго сознанія разрушает еще положительнѣе, чѣм обозрѣніе спора систем, вѣру в общезначимость какой-либо философіи, которая пыталась, при помощи комплекса понятій, выявить обязательным образом мировую связь бытія». На это Гуссерль рѣзко отвѣчает: «Легко увидѣть, что историзм, при послѣдовательном проведеніи, переходит в крайній скептический суб'ективизм. Идеи, истины, теоріи, науки потеряли бы тогда, как и всѣ идеи, их абсолютное значеніе. Что идея имѣет значимость, означало бы тогда, что она является фактическим духовным образованіем, которое признается значущим и в этой фактичности значенія опредѣляет собой мышленіе. В таком случаѣ значимости, как таковой или в себѣ, — которая есть, что она есть, даже тогда, когда никто ее осуществить не может и никакое историческое человѣчество никогда не осуществляло, — совсѣм нѣтъ. Стало быть, нѣтъ и для принципа противорѣчія и для всей логики... Тогда возможен такой конечный результат, что логическій принцип безпротиворѣчивости обратится в свою противоположность. И тогда всѣ утвержденія, которыя мы теперь высказываем, и даже тѣ возможности, которыя мы обсуждаем и принимаем во вниманіе, оказались бы лишеными всякаго значенія и т. д. Нѣтъ никакой надобности продолжать это рассужденіе и повторять здѣсь то, что

уже сказано было в другом мѣстѣ». В другом мѣстѣ, т. е., как поясняет сам Гуссерль, в первом томѣ «Логических Исслѣдованій». Мы уже знаем, что там сказано. Послѣднее слово Гуссерля — напомнимъ это еще раз, так как это чрезвычайно важно для занимающей нас проблематики — сумасшедшій дом, в котором мѣсто всѣм, отстаивающими релятивизм, хотя бы не индивидуальный, а специфическій. Не колеблясь, Гуссерль заявляет: «Исторія, эмпирическая наука о духѣ, не в состояніи своими силами ничего рѣшить ни положительнаго, ни отрицательнаго относително того, нужно-ли различать между религіей, как культурным образованіем, и религіей, как идеей, т. е. значимой религіей, между искусством, как культурным образованіем, и значимым искусством, между историческим и значимым правом, и, наконец, между исторической и значимой философіей, а затѣм относительно того, существует или не существует, выражаясь по-платоновски, отношеніе идеи к ея затемненной, феноменальной формѣ. Философское разумѣніе — и только оно — может и обязано разрѣшить для нас загадку міра и жизни».

В приведенных словах мысль Гуссерля доходит до своего кульминаціоннаго пункта. И, самое замѣчательное: хотя никто из философов не рѣшается с такой смѣлостью и так открыто говорить о «*Schrankenlosigkeit der Vernunft*», — ф а к т и ч е с к и всѣ убѣждены, что разуму и только разуму дано отвѣчать на всѣ вопросы, тревожащіе душу человѣка. «Очевидность» — как голова Медузы: всякій, глядя на нее, духовно обезсиливает, превращается в камень, безвольно подчиняющійся всѣм вліяніям извнѣ. Но никто не хочет дать себѣ отчет в том, что люди во власти какой-то загадочной и непонятной темной силы, принуждающей их принять сужденія разума, даже и тогда, когда они посягают на самое для них цѣнное и дорогое, на их святыню. По завѣту Аристотеля, люди держатся в средних поясах бытія, не рискуют доходить до окраин и внушили себѣ увѣренность, что изучившій середину путем заключенія может узнать, что происходит на окраинах. Но среднія зоны человѣческой и міровой жизни ни мало не похожи ни на полюсы, ни на экватор. Для того, чтоб судить об окраинах бытія — нужно там побывать. Самое ошибочное заключеніе: разум так много сдѣлал, стало быть, он может сдѣлать все. Много — не значит все: многое и все — различныя, не сводимыя одна к другой категоріи. Даже религія —

мы это сейчас слышали от Гуссерля — получает свой смысл и значеніе, поскольку она может опереться на самоочевидность. Разум рѣшит, какая религія имѣет значимость, какая религія имѣет значимость в себѣ и имѣет-ли вообще религія значимость, в какой религіи слышен голос Бога, в какой за голос Бога выдается голос человѣческой, — и как разум скажет, так будет: *Roma locuta*. Опять скажу: безмѣрная заслуга Гуссерля в том, что он дерзнул так поставить вопрос. Тут его *Einstellung*, как он выражается, направлено уже не только против современной философіи, а против самого Канта, который, несмотря на всю радикальность его «критики чистаго разума», все же не мог не внести в свою философію контрабанду — постулаты о Богѣ, безсмертіи души и свободѣ. Гуссерль, вѣрный своим заданіям, держится ближе к Платону. В своем діалогѣ «Эвтифрон» Платон спрашивает: оттого-ли святое свято, что его любят боги, или боги оттого любят святое, что оно свято? И, конечно, принимает второй отвѣт. Святое над богами, как над все́м мірозданіем идеальныя истины. Святое не создано, и что бы оно нам ни возвѣщало, чего бы оно от нас ни требовало, — все мы должны принять, всему подчиниться, — не только мы, но и демоны, и ангелы, и боги. И святое остается святым, как идеальныя истины — истинами, хотя ему, как и идеальным истинам, рѣшительно безразлично, нужно-ли оно или не нужно людям, несет-ли оно им (и даже богам) радости или печали, надежды или отчаянія: истина, вѣдь, есть истина сама по себѣ и не считается с «эмпирическими явленіями», которыя отданы в ея власть. И вот тут начинается самое загадочное и самое значительное из того, что нам принесла философія Гуссерля. Тут же возникает вопрос: что заставило Гуссерля с такой исключительной настойчивостью требовать от меня, чтоб я занялся Киргегардом? Киргегардом, который, в противоположность Гуссерлю, искал истины не у разума, а у Абсурда, Киргегардом, для котораго закон противорѣчія, как ангел с обнаженным мечом, поставленный Богом у входа в рай, ничего об истинѣ не свидѣтельствует и нисколько не опредѣляет собой границы, отдѣляющей возможное от невозможнаго. Для него же философія (он ее называет экзистенціальной) начинается именно там, гдѣ разум с очевидностью усматривает, что все возможности уже окончательно исчерпаны, что все кончено, что человѣку ничего не остается, как глядѣть и холодѣть. Киргегард

тут вводит в философію то, что он называет «вѣрой» и что он опредѣляет, как «безумную борьбу за возможное», т. е. за возможность невозможнаго, явно опираясь на слова Писанія — мудрость человѣческая есть безуміе перед Богом. Правда, люди больше всего на свѣтѣ боятся безумія. Киртегард это знает и постоянно повторяет, что человѣческая слабость не смѣет глядѣть в глаза смерти и безумію. И он прав. Правда, в платоновском Федонѣ мы читаем, что философія есть «упражненіе в смерти». Там же сказано, что всѣ, которые настоящим образом отдавались философіи, хотя «скрывали от других, но ничего другого не дѣлали — как готовились к умираиію и смерти». Надо думать, что эти столь необычныя и загадочныя мысли были внушены Платону отходившим от жизни Сократом. Платон к ним не возвращается: он весь поглощен «государством» и «законами» — даже в глубокой старости, осуществляя, наравнѣ с обыкновенными смертными и гладиаторами вѣковѣчное требованіе: *salve, Caesar, morituri te salutant*. Даже в предсмертный момент люди не могут оторваться от «Цезаря», от того, что всѣми признается дѣйствительностью». И это «естественно»! Ибо как надо понимать «упражненіе в смерти»? Не есть-ли это начало и приготовленіе к борьбѣ с доказательностью доказательств, с законом противорѣчія, с разумом, претендующим на безграничныя права и захватившим в свои руки власть самовольно опредѣлять, гдѣ кончаются возможности и начинается невозможное, с ангелом, стоящим у входа в рай с обнаженным мечом? Неискушенному взгляду представляется, что эта безмѣрная власть принадлежит разуму по праву, и что в этом нѣтъ ничего ни страшнаго, ни грознаго. На самом дѣлѣ все тут обстоит совсѣм по иному. Непреодолимые и невыносимые ужасы бытія вытекают именно из того, что власть опредѣлять предѣлы возможнаго цѣликом и исключительно захвачена разумом. Как Гуссерль сказал: разум повелѣвает, человѣкъ должен повиноваться. И этого мало еще, что человѣкъ должен повиноваться — он должен благоговѣнно и радостно покорствоваться. Примѣром тому является тае ошеломившая всѣх когда-то проповѣдь безудержной жестокости у Нитше. Гуссерль настойчиво рекомендовал мнѣ изучать Киртегарда. В такой же мѣрѣ он мог бы настаивать на том, чтоб я занялся Нитше, если бы я уже Нитше не знал задолго до того, как услышал имя Гуссерля. Между уче-

ніем Гуссерля, с одной стороны, и ученіями Нитше и Киргегарда, с другой, существует глубочайшее внутреннее сродство. Абсолютизируя истину, Гуссерль принужден был релятивизировать бытіе, точнѣе, человѣческую жизнь. Это принужден был сдѣлать и Ницше. Поскольку он отдавался во власть разума, не признающаго на ряду с собой никакого авторитета (это бывало с ним не всегда, но часто), он заявляет, не может не заявить: «Кто может достигнуть чего-либо великаго, если он не чувствует в себѣ силу и готовность причинять великія страданія? Умѣть терпѣть — самое послѣднее дѣло: в этом слабыя женщины и даже рабы часто достигают виртуозности. Но не погибнуть от тоски и сомнѣній, когда приходится причинять другим великое страданіе и слышать вопль его — это велико, в этом проявляется величіе». Откуда пришла к Нитше увѣренность, что готовность проявлять неумолимую жестокость свидѣтельствует о величій? И о таком величій, к которому мы должны стремиться всѣм сердцем и всей душой? Именно всѣм сердцем и душой — как того требует Писаніе по поводу любви человѣка к Богу. Но, как увѣрял Ницше, люди, все по требованію разума, Бога убили. Я жалѣю, что не могу привести здѣсь полностью то мѣсто из книги Нитше, в котором он с исключительной даже для него силой и страстностью рассказывает об этом «преступленіи из преступленій». Но разум потребовал — пришлось рѣшиться убить Бога, как приходится рѣшаться на все, что разум считает нужным и справедливым. Разум в своих безмѣрных требованіях неумолим. «Не должны-ли мы, наконец, пишет Нитше в другом мѣстѣ, пожертвовать всѣм утѣшающим, святым, исцѣляющим, всѣми надеждами, всей вѣрой в скрытую гармонію, блаженство и справедливость в будущем? Не должны-ли мы пожертвовать самим Богом и из жестокости к себѣ обоготворить камень, глупость, тяжесть, рок, ничто? Пожертвовать Богом ради Ничто — это парадоксальное таинство послѣдней жестокости — выпало на долю нашего поколѣнія: мы всѣ знаем кое-что об этом». Может быть, — даже навѣрное, — послѣдніи слова Нитше не совсѣм соотвѣтствуют дѣйствительности: далеко не всѣ знают, что во исполненіе требованія разума нам придется о б о г о т в о р и т ь камень, глупость, ничто. Скорѣй наоборот (и это очень важно): большинство людей совершенно не подозревают этого. С той безпечностью, о которой сам Нитше не мало нам рассказывал, наиболѣе замѣчательные предста-

вители современной науки и современной философи всецѣло ввѣряют свою судьбу и судьбу всего человечества разуму, не знающему и не желающему знать предѣлы власти своей. Разум потребовал, и мы безпрекословно соглашаемся обоготворить камень, глупость, ничто. И никто не дерзает спросить: что, как а я таинственная сила заставляет нас отказать от всѣх своих надежд и упованій, от всего, что мы считаем священным, утѣшающим, в чем мы видим справедливость, блаженство. Разум, которому нѣтъ никакого дѣла до наших надежд и отчаяній, строжайше возбраняет даже ставить такой вопрос. И к кому с ним обращаться? К разуму-же? Но он уже дал свой отвѣт. Иного же судьи, кромѣ самого себя, разум ни за что не признает: для него это было бы равносильно отреченію от его суверенных прав.

Л. Шестов

(Окончаніе слѣдует)